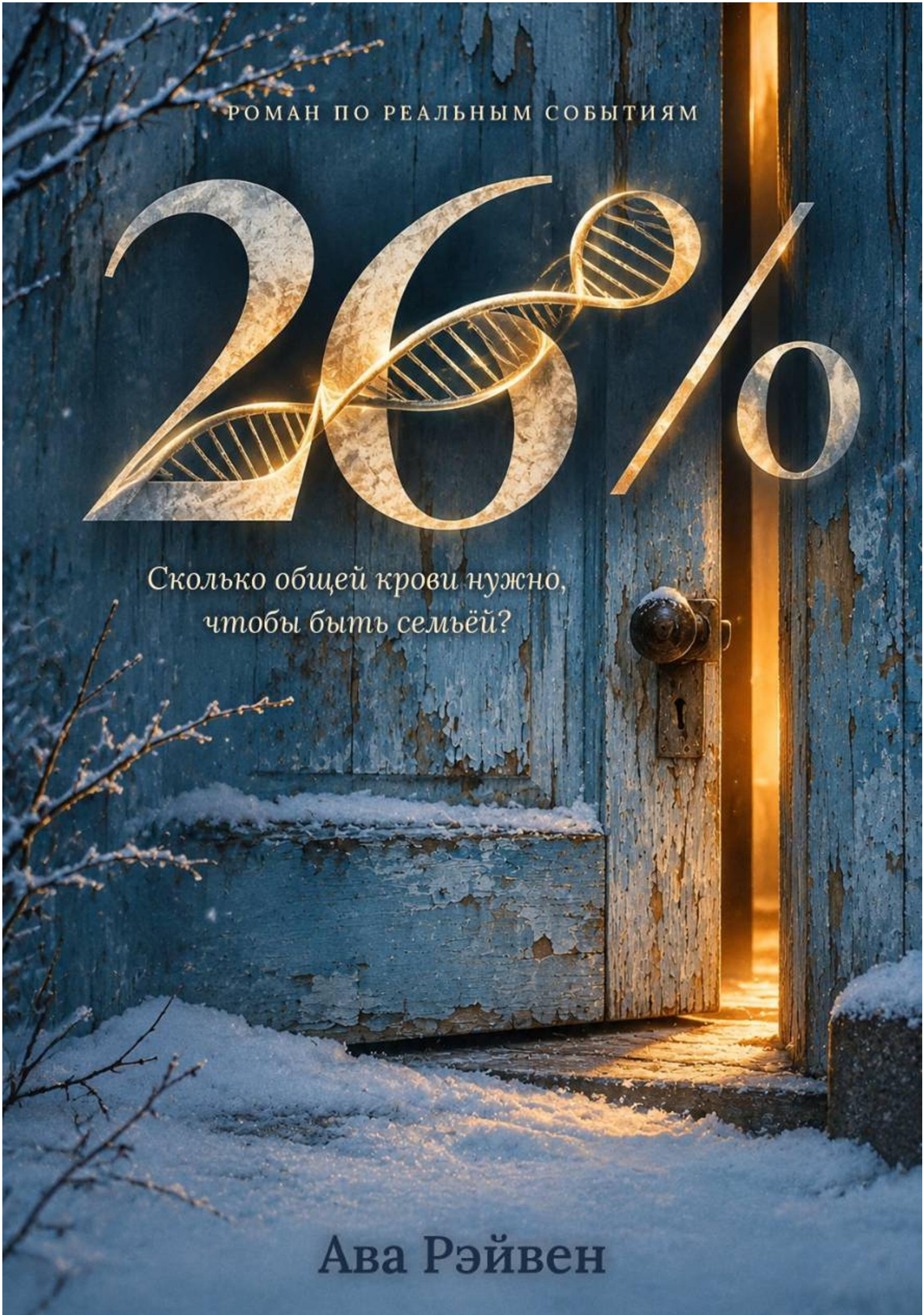

РОМАН ПО РЕАЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ
26%
Сколько общей крови нужно,
чтобы быть семьёй?
Ава Рэйвен

Ава Рэйвен

26%

«Автор»
2026

Рэйвен А.

26% / А. Рэйвен — «Автор», 2026

Ей было восемь, когда мама ночью ушла из дома и не закрыла за собой дверь. Всю зиму трое детей жили одни и делали вид, что мама вот-вот вернётся. Ана топила печь, делила последний хлеб и писала младшей сестре письма маминым почерком.Прошло тридцать два года. Ана живёт у моря и уверена, что знает о своей семье всё, даже самое страшное. Ради шутки муж дарит ей тест ДНК за двадцать евро. В результатах она находит незнакомца из Австралии с её глазами и 26 % общей ДНК. У мамы была вторая тайна.Роман по реальной истории о семье, где все умеют молчать, о детях, которым пришлось вырасти за одну зиму, и о том, сколько общей крови нужно, чтобы быть семьёй.

© Рэйвен А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Зима 6
Глава первая — Двадцать евро 6
Глава вторая — Папина кружка 8
Глава третья — Ночь 10
Глава четвёртая — Правила Матея 12
Глава пятая — Дрова 14
Глава шестая — Ива ждёт у окна 16
Глава седьмая — Учительница спрашивает 19
Глава восьмая — Деньги в жестянке 21
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Ава Рэйвен
26%

Ава Рэйвен
26 %
Сколько общей крови нужно, чтобы быть семьёй?
Роман по реальным событиям

Часть первая. Зима

Глава первая — Двадцать евро

В день, когда мне исполнилось сорок, муж подарил мне коробку размером с пачку чая.

Мы сидели на балконе. Внизу, за крышами, дышало море, на столе стояли две чашки кофе и кусок миндального торта с одной свечкой. Луиш сказал, что сорок свечек — это уже пожарная безопасность, а не праздник.

— Открывай, — сказал он. — Только не смейся.

Я, конечно, засмеялась. В коробке лежали пробирка с крышкой, инструкция на четырёх языках и конверт с обратным адресом. На крышке улыбалась седая женщина, а над ней было написано: «Узнайте, откуда вы на самом деле».

— Тест ДНК, — сказала я. — Луиш. Ты подарил мне на день рождения пробирку для слюны.

— Двадцать евро, — с достоинством ответил он. — Со скидкой. Все сейчас делают. Мой кузен узнал, что он на три процента викинг. Он теперь всем это рассказывает.

— Твой кузен и без теста на три процента викинг.

Он рассмеялся, но смотрел на меня внимательно. Так он смотрит, когда боится, что подарок не понравится. Луиш любит дарить подарки и плохо умеет их выбирать. В прошлом году это была хлебопечка. Мы испекли в ней один хлеб, и теперь она живёт на шкафу.

— Я подумал, — сказал он уже тише, — ты ведь почти ничего не знаешь про свою семью. Может, там найдутся какие-нибудь тёти. Двоюродные сестры. Люди, которые будут рады тебя видеть.

Я поставила коробку на стол, рядом с тортом.

— Я знаю свою семью, — сказала я. — У меня есть старший брат, который звонит мне на Рождество и больше никогда. Есть младшая сестра, которая звонит мне каждый день и всегда не вовремя. Есть брат, про которого я до тридцати лет не знала. И есть мама, которая однажды ночью ушла. Это вся моя семья, Луиш. Другой нет.

Он не стал спорить. Он вообще редко спорит, за это я его и выбрала. Он достал из кармана зажигалку и снова зажёг свечку, потому что ветер её задул.

— Загадывай, — сказал он.

Я загадала то же, что и каждый год. Я никому не рассказываю, что именно, даже ему. Но могу сказать, что это желание ни разу не сбылось и сбыться уже не может. Я загадываю его по привычке, как старухи крестятся на церковь, в которую давно не ходят.

Потом я задула свечку.

Пробирка пролежала на кухонной полке две недели, между солью и перцем. Луиш ни разу о ней не напомнил. Распечатала я её без него, в четверг утром, когда он уже уехал на работу.

Инструкция требовала не есть и не пить за полчаса до теста. Я сидела за столом с пустой чашкой и смотрела на часы. Странное чувство: ждать тридцать минут, чтобы узнать, кто ты. Я ждала этого тридцать два года, и тридцать минут показались дольше.

Надо было наполнить пробирку до чёрной линии. Это оказалось труднее, чем кажется. Во рту было сухо, как перед экзаменом. Я сидела над пробиркой и думала о лимонах, как советовала инструкция. Лимоны не помогали.

Помогло другое. Я вдруг вспомнила запах мочёных яблок. Они стояли у нас в сенях в деревянной бочке, и в ту зиму мы съели их до последнего, вместе с рассолом. Рот сам наполнился слюной. Тело помнит то, что голова давно убрала подальше.

Я закрутила крышку, и синяя жидкость из неё смешалась с тем, что было мной. Встряхнула пять раз, как было нарисовано. Положила в конверт. На конверте был адрес лаборатории в стране, в которой я никогда не была.

Потом я долго сидела на кухне и ничего не делала.

Луиш прав: я почти ничего не знаю про свою семью. Но не потому, что не интересовалась. В нашей семье люди не рассказывали, а уходили. Отец ушёл осенью, не сказав почему. Мама ушла зимой, не сказав ничего. А мы трое остались, и нам тоже пришлось научиться молчать.

Я не рассказывала Луишу про ту зиму. То есть рассказывала, но так, как рассказывают на втором свидании: три предложения, пожать плечами, сменить тему. «Мама нас бросила, нас разобрали родственники и монахини, всё было нормально». Это правда. Просто не вся.

Вся правда начинается с кружки.

Вечером я отнесла конверт на почту. Женщина в окошке поставила штамп и бросила его в синий ящик к сотне других конвертов. Я слушала, как он упал, и думала, что через шесть недель чужие люди в белых халатах расскажут мне, откуда я на самом деле.

Я была уверена, что знаю ответ.

Из деревни, которой нет на картах. Из дома с синими ставнями в конце улицы. Из зимы, когда мне было восемь лет и мы трое делали вид, что мама дома.

Оказалось, это только половина ответа.

Глава вторая — Папина кружка

Папина кружка была жестяная, синяя, с отбитой эмалью у ручки. Она висела на гвозде у печки, и никто, кроме него, из неё не пил.

Отец ушёл в октябре, когда уже выкопали картошку. Я помню только его спину в дверях и сумку через плечо. Он не сказал «пока», или сказал, а я не слышала. На столе осталась недопитая кружка, и мама весь вечер обходила её, будто это была лужа.

Потом она её вымыла и повесила на место. На тот же гвоздь. Никто не спросил, зачем.

Наша деревня стояла вдоль одной дороги, как бусы на нитке. Сорок дворов, магазин, который открывался, когда продавщице хотелось, и школа на два класса в соседнем селе, в двух километрах. За полем, далеко, дымили трубы завода. На заводе работали почти все мужчины округи, и папа тоже, пока не ушёл.

Наш дом был последним, с синими ставнями. Ставни папа покрасил весной и при этом пел. Это я тоже помню. Странно, что от человека в памяти остаются такие вещи: спина, кружка, песня с кистью в руке.

После его ухода в доме стало тихо. Не сразу. Сначала мама много говорила: с соседкой через забор, с продавщицей, с кем-то по телефону на почте. А потом слова у неё словно закончились. К ноябрю она говорила только то, без чего нельзя: «ешь», «спать», «шапку надень».

Она подолгу стояла у окна и смотрела на дорогу. Я думала, она ждёт папу. Теперь я не уверена. Дорога ведёт в две стороны. По ней можно прийти, а можно уйти.

Матею было десять, и он решил, что теперь он в доме мужчина. Он стал ходить, сунув руки в карманы, как отец, и слегка сутулиться. Иногда он садился на папино место за столом, а мама смотрела на него и ничего не говорила. Потом он пересаживался.

Иве было шесть. Она ещё верила, что папа уехал на заработки и привезёт ей куклу с закрывающимися глазами. Это придумала я. Я вообще много чего придумывала для Ивы в ту осень, и началось всё именно с куклы.

А мне было восемь, и я была средняя. Средние дети мало кому нужны, но зато всё видят. Старшего все замечают, потому что он первый. Младшую все жалеют, потому что она маленькая. А средняя стоит сбоку и смотрит.

Я видела, что мама перестала есть с нами. Она ставила на стол три тарелки и говорила, что поест потом. Потом не наступало.

Я видела, что она стала красить губы, когда ходила в магазин. Раньше она красила их только на свадьбы. Помада была морковного цвета, в золотом футляре, и хранилась в шкатулке вместе с бусами.

Я видела, что однажды в ноябре к нашей калитке подъехала машина с заводским значком на дверце. Мама вышла без пальто, поговорила с кем-то через опущенное стекло и вернулась с красными щеками. Сказала, что это с завода, про папину зарплату. Я поверила. Мне было восемь, а в восемь лет верят всему, что говорит мама.

Видеть и понимать — разные вещи. На то, чтобы понять то, что я видела в ту осень, у меня ушло тридцать два года и один тест за двадцать евро.

Зима пришла рано. В конце ноября выпал снег и уже не стаял. По утрам мы втроём шли в школу по тропинке, которую протапывал Матей. Он шёл первым, я за ним след в след, а Ива сзади, держась за мой ранец. Так мы и ходили всю ту зиму: в один ряд, в один след, трое детей, похожих на одного большого и очень осторожного зверя.

За день до того, как всё случилось, мама заплела мне косу.

Она давно этого не делала, с тех пор как ушёл папа. Мы с Ивой ходили с конскими хвостами, как получалось. А в тот вечер она посадила меня на табуретку у печки, долго расчёсы-

вала и заплела косу в четыре пряди, как на праздник. Пальцы у неё были холодные, даже у печки.

— Ты у меня самая терпеливая, — сказала она мне в затылок. — Всегда была.

Я не знала, что на это сказать. Никто раньше не говорил мне, какая я. Я просто сидела и смотрела на папину кружку на гвозде.

Коса продержалась три дня. Я спала с ней, чтобы не распустилась. На четвёртый день мне пришлось расплести её самой, потому что заплести нас обратно было уже некому.

Глава третья — Ночь

Наша входная дверь скрипела дважды: когда её открывали и когда закрывали. Первый скрип был высокий, как вопрос. Второй низкий, как ответ. Папа всё собирался смазать петли и так и не смазал.

В ту ночь я слышала только первый.

Мы с Ивой спали на одной кровати в маленькой комнате, валетом, как спят зимой все дети в домах, где печка остывает к утру. Матей спал на сундуке у стены. Он сам туда перебрался после ухода отца, сказал, что на диване спят только маленькие. Мама спала в большой комнате, за занавеской в цветочек.

Меня разбудил не скрип, а холод. Ива стянула всё одеяло на себя, как всегда, и я лежала с голой спиной и не хотела его отнимать. В комнате было темно, только окно белело от снега. И в этой темноте я услышала мамины шаги.

Она шла не так, как ходят ночью в туалет или за водой, шаркая и зевая. Она шла осторожно, обходя доску у печки, которая скрипит. Про эту доску знали все в доме. Мы с Матеем тоже её обходили, когда ночью таскали сахар.

Потом зашуршало пальто. Звякнули ключи, и кто-то их сразу прижал ладонью, чтобы не звенели. Стало тихо. Так тихо, что я слышала, как сопит Ива и как тикают часы на стене в большой комнате. Мне кажется, мама долго стояла в сенях. Может, слушала нас. Может, передумывала. Я так и не узнала.

А потом дверь скрипнула высоко, как вопрос.

Я ждала второго скрипа. Мне и в голову не пришло, что что-то не так. Мама часто выходила ночью: посмотреть, закрыт ли сарай, подбросить дров, просто постоять на крыльце. После ухода папы она часто стояла на крыльце. Я лежала и считала, как она учила считать овец, чтобы уснуть. На сорок какой-то овце я уснула.

Второго скрипа я так и не услышала. Больше тридцати лет я думала, что проспала его. Объясняла себе, что мама прикрыла дверь осторожно, придержав её рукой. И только взрослой поняла, что так не бывает. Наша дверь скрипела всегда, как её ни держи.

Не было второго скрипа. Мама вышла и не закрыла за собой дверь.

Утром в доме было так холодно, что изо рта шёл пар. Дверь в сени стояла приоткрытой на ладонь, и на полу лежала маленькая снежная дорожка, наметённая в щель. Печка была холодная. Никто её не топил.

Первым встал Матей. Я слышала, как он спрыгнул с сундука и пошёл в большую комнату. Потом вернулся и встал в дверях нашей комнаты. Он был в отцовском свитере, который доставал ему до колен.

— Ана, — сказал он. — А где мама?

Это был первый и последний раз, когда Матей спросил что-то у меня, а не наоборот.

Мы обошли весь дом. Занавеска в цветочек была отдёрнута. Кровать застелена аккуратно, как для гостей, подушка уголком вверх. Мама так застилала постель, только когда ждала бабушку. В шкафу не было её зимнего пальто, синего платья и сапог на меху. Из шкатулки с бусами пропала помада в золотом футляре. Бусы остались.

Записки не было. Мы искали её потом всю зиму: под скатертью, в книгах, в карманах старых курток. Я до сих пор не знаю, что хуже: записка с чужими, сухими словами или вот так, ничего. Записку можно возненавидеть. А с пустотой нечего делать, кроме как наполнять её самой.

Ива проснулась сама. Она вышла к нам босиком, завернувшись в одеяло, как в плащ, и спросила, почему так холодно и почему никто не делает завтрак.

Матей посмотрел на меня. Я посмотрела на Иву.

И тогда я соврала в первый раз в ту зиму. Дальше было проще.

— Мама уехала к тёте в город, — сказала я. — Тётя заболела. Мама не стала тебя будить, потому что ты спала красиво.

Ива подумала.

— А какая тётя?

У нас не было тёти в городе. У нас вообще никого не было в городе.

— Тётя Лиля, — сказала я. — Ты её не помнишь, ты была маленькая.

Так у нас появилась тётя Лиля. Она прожила с нами всю зиму, и за эту зиму она болела ангиной, гриппом, воспалением лёгких, дважды ломала ногу и один раз чуть не умерла. Каждый раз, когда Ива спрашивала, когда вернётся мама, тёте Лиле становилось хуже.

Матей ничего не сказал. Он снял с гвоздя папину кружку, налил в неё воды из ведра, выпил до дна и пошёл в сарай за дровами.

А я закрыла входную дверь. Она скрипнула низко, как ответ. На ночь опоздали.

Глава четвёртая — Правила Матея

Правила Матей придумал в сарае, пока набирал дрова. Он вернулся с охапкой поленьев, свалил их у печки, присел на корточки и стал поджигать бересту. Руки у него тряслись, и спички ломались одна за другой. Получилось с пятой. Мы с Ивой стояли рядом и смотрели, как в темноте печки начинает дышать огонь.

— Слушайте меня, — сказал Матей, не оборачиваясь. Голос у него был папин, или он старался, чтобы был папин. — Про тётю Лилю никому не рассказываем. И про маму никому. Никому вообще.

— Почему? — спросила Ива.

Матей подул на огонь, и он вспыхнул ярче.

— Потому что тогда приедут из района и заберут нас в детдом. Тебя в один, Ану в другой, меня в третий. И всё. Больше не увидимся.

Я не знаю, откуда он это взял. Может, слышал что-то на перемене в школе. Может, придумал сам, как я придумала тётю Лилю. Но про детдом он сказал так, что мы поверили сразу и навсегда. Ива заплакала. Я нет. Кто-то из нас должен был не плакать, и очередь случайно оказалась моя.

Правила Матей потом записал карандашом на обороте календаря, который висел у нас на кухне. Он думал, что оборот календаря — самое секретное место в доме, и был прав: туда никто никогда не смотрит. Календарь я храню до сих пор. На лицевой стороне там котёнок в корзине с клубками. На обороте, крупными кривыми буквами десятилетнего мальчика, с двумя ошибками:

1. Никому не говорим.
2. В школу ходим каждый день, даже когда не хочется.
3. Выглядеть акуратно. Ана плетёт косы.
4. Дым из трубы должен идти каждое утро.
5. Свет вечером в большой комнате.
6. Если спрашивают про маму, мама на работе.
7. Не реветь.

Седьмое правило было про Иву, но нарушали его мы все. Матей нарушил его первым, в сарае, в первый же вечер. Я видела его через щель в досках и никому не сказала. Это тоже было правило, просто незаписанное.

В школу мы пошли в тот же день. Опоздали на первый урок, потому что я долго заплетала Иву. У мамы это занимало минуту. У меня коса распадалась три раза, и Ива кричала, что я дёргаю. В конце концов я завязала ей два хвоста разной высоты, и их пришлось спрятать под шапку.

Учительница Хелена посмотрела на нас поверх очков.

— Садитесь, — сказала она. — В следующий раз выходите раньше.

И всё. Я весь урок ждала, что она посмотрит на меня и всё поймёт. Что у меня на лбу написано: «У неё нет мамы». Что это видно по нечёсаным волосам, по тетрадке без обложки, по запаху дыма. Она ничего не заметила.

Это было первое, что я узнала о взрослых в ту зиму. Взрослые видят то, что ожидают увидеть. Учительница ожидала увидеть троих детей, которые опоздали, потому что проспали. И увидела именно их.

По дороге домой мы встретили соседку, старую Розу. Она шла из магазина с сеткой, в которой были хлеб и две банки сайры.

— А мать где? — спросила она. — Утром труба у вас не дымила.

Старая Роза видела всё. Это было второе, что я узнала о взрослых: есть и такие.

Матей открыл рот и ничего не сказал. Все семь правил вылетели у него из головы. Десятилетние мальчики хорошо придумывают правила и плохо врут. И тогда сказала я:

— Мама теперь работает в районе, в столовой. Уезжает на первом автобусе, в пять. А печку топит Матей, он проспал.

Роза посмотрела на Матея. Матей покраснел так, как краснеют только те, кто проспал.

— В столовой, значит, — сказала Роза. — Ну-ну.

Она достала из сетки банку сайры, сунула её Иве в руки и пошла дальше, не оборачиваясь. Я до сих пор не знаю, поверила ли она мне. Думаю, нет. Но в деревне есть ещё одно правило, старше всех правил Матея: в чужие дела не лезут. Чужая беда как чужой забор: можно смотреть, но нельзя трогать.

Вечером Матей дописал на обороте календаря восьмое правило.

8. Врёт Ана.

А сайру мы съели на ужин, втроём, с одной вилки, по очереди. Это был самый вкусный ужин в моей жизни. Я никому этого не говорю, потому что это звучит дико. Но это правда.

Глава пятая — Дрова

Дрова кончились в январе.

Не совсем, конечно. В сарае ещё лежали чурбаки, круглые и тяжёлые, как спящие поросята. Но наколотых поленьев больше не было. Папа каждую осень колол их целую неделю, а этой осенью успел только начать. Топор так и остался торчать из колоды у стены, там, где он его воткнул.

Матей стоял перед топором долго, как перед чужой собакой.

— Я умею, — сказал он, хотя никто не спрашивал. — Папа показывал.

Папа показывал один раз, прошлым летом, на маленьком сухом полене, и при этом держал руки Матея своими. Я помнила это тоже. Но ничего не сказала.

Он выдернул топор из колоды с третьего раза. Поставил чурбак. Поднял топор до плеча, выше не получалось, и ударил. Топор скользнул по боку чурбака и воткнулся в землю в двух пальцах от его валенка.

Ива вскрикнула. Я схватила её за лицо и прижала к себе, чтобы она не смотрела. А сама смотрела. Я всегда смотрела.

Матей стоял белый. Потом медленно вытащил топор из земли.

— Уйдите в дом, — сказал он.

Мы не ушли. Мы стояли в дверях сарая, и Ива смотрела сквозь мои пальцы, а я считала удары. На первый чурбак ушло двадцать семь. Он не раскололся, а разломался, всё в щепках и занозах. На второй чурбак ушло девятнадцать. К пятому Матей научился ставить чурбак трещиной к себе и бить в трещину. Ударов стало девять.

Руки у него были стёрты в кровь. Варежек мы не нашли, папа забрал их с собой. Вечером я намазала ему ладони маминым кремом для рук, он пах ромашкой, и замотала тряпками. Матей сидел с замотанными руками на краю сундука и смотрел в огонь. И вдруг сказал:

— От тебя пахнет мамой.

Это пахло кремом, а не мамой. Но я не стала поправлять.

Моя работа была еда.

В погребе стояла картошка, та самая, которую мы выкопали осенью вчетвером, когда папа ещё был. Стояли банки с огурцами и капустой, подписанные маминой рукой. Стояла бочка мочёных яблок. В кладовке были мука, пшено, подсолнечное масло и сахар в полотняном мешке.

Умела я немного. По сути, я умела чистить картошку, потому что мама мне это поручала. Остальное я делала по памяти. Я вспоминала, как мама стояла у плиты, и повторяла её движения, будто танец, который видела много раз, но никогда не танцевала сама. Воду в кастрюлю. Кастрюлю на плиту. Соль щепотью, тремя пальцами. Лавровый лист, потому что мама всегда клала лавровый лист, и неважно, зачем.

Первый суп я пересолила. Второй недосолила. Третий пригорел так, что кастрюлю пришлось вынести в сугроб, и она шипела в снегу, как живая. Ива ела всё. Ива вообще ела всё, что ей давали, и потом серьёзно говорила: «Вкусно, как у мамы». Это была неправда, и мы обе это знали. Но что-то в нашем доме должно было быть «как у мамы», и мы выбрали суп.

К концу января я научилась варить три блюда: картошечный суп, пшённую кашу и лепёшки из муки, воды и соли, которые пеклись прямо на чугунной плите. Лепёшки придумала я сама, когда кончился хлеб. Ива назвала их «анины кругляшки». В монастыре она потом долго спрашивала у сестёр, почему у них нет аниных кругляшек.

А по вечерам я делала одну вещь, о которой не знали ни Матей, ни Ива.

Когда они засыпали, я доставала из ведра с очистками одну целую картофелину, которую нарочно не сварила днём, и клала её на заслонку печки с краю. К утру она запекалась и становилась тёплой и мягкой внутри.

Это была картошка для мамы. На случай, если она вернётся ночью, замёрзшая, а все спят и ничего нет.

Утром я вставала раньше всех и съедала её сама, с кожурой, чтобы никто не увидел. И вечером клала новую.

Так продолжалось сорок два дня. Я считала.

Глава шестая — Ива ждёт у окна

Мамину тарелку Ива поставила в первый же вечер.

Я не заметила, когда это случилось. Я сливала воду с картошки, Матей носил дрова, а когда я обернулась, на столе стояли четыре тарелки. Мамина была с краю: белая, с голубой каёмкой и сколом. Мама всегда поворачивала её сколом к себе, чтобы никто из нас не порезался. Ива повернула её так же. Сколом к пустому стулу.

— Это зачем? — спросил Матей.

— Мама приедет, а ей не из чего есть, — сказала Ива.

Матей посмотрел на меня. Тётю Лилю придумала я, значит, и отвечать за всё, что из неё выросло, тоже мне.

— Тётя Лиля далеко живёт, — сказала я. — Мама сегодня не успеет.

— А вдруг успеет.

Спорить с шестилетними бесполезно. У них нет доводов, у них есть «а вдруг». Против «а вдруг» не помогает ничего. Я и сейчас не знаю, что на него ответить.

Я положила в мамину тарелку ложку картошки. Не знаю зачем. Наверное, пустая тарелка на столе хуже пустого стула. Стул можно не замечать. А тарелка смотрит.

У меня была своя картошка для мамы, на заслонке, и про неё никто не знал. У Ивы была своя, на столе, и про неё знали все. Мы ждали одну и ту же женщину. Просто Ива ждала вслух.

После ужина она забиралась на подоконник в большой комнате. Подоконник был широкий, деревянный, летом мама сушила на нём укроп, и он до сих пор немного пах укропом. Ива подтягивала колени к подбородку, дышала на стекло и протирала рукавом круглое окошко. Через него было видно дорогу, единственный фонарь у магазина и остановку.

Последний автобус из района приходил в восемь. Ива ждала его каждый вечер. Сначала из-за поворота появлялись фары, жёлтые и косые, как глаза у кошки. Потом автобус останавливался, кто-то выходил и шёл по снегу к своему дому. Ива провожала каждого взглядом до калитки и говорила тихо, себе:

— Не эта.

Иногда никто не выходил. Тогда она говорила: «Завтра». И слезала с подоконника.

Сначала я боялась, что её увидят с дороги. Маленькая девочка в окне каждый вечер. Но потом поняла, что это даже хорошо. С дороги видно свет и ребёнка у окна. Значит, в доме всё как у людей: топят, ужинают, мать где-то рядом, просто её не видно. Ива сама того не зная выполняла пятое правило Матея лучше, чем мы все.

А перед сном она спрашивала:

— Как там тётя Лиля?

И я рассказывала.

Тётя Лиля жила в городе на пятом этаже. Лифт в её доме всё время ломался, и маме приходилось носить сумки пешком. На балконе у тёти Лили росла герань, красная и белая. У неё был толстый рыжий кот по имени Профессор, который спал только в шляпной коробке. По вечерам мама и тётя Лиля пили чай с малиновым вареньем, потому что от малины выздоравливают.

Ива требовала подробностей. Какого цвета шторы. Какой чай. Что Профессор ел на завтрак. Если я путалась и в понедельник говорила, что шторы зелёные, а в пятницу, что жёлтые, она сразу ловила меня:

— Ты говорила, зелёные.

— Их постирали, — отвечала я. — Под зелёными были жёлтые.

Так я узнала, что ложь держится не на главном, а на мелочах. В главное верят легко. Мелочи надо помнить. Я стала запоминать всё, что говорила про тётю Лилю, и по ночам повто-

ряла про себя, как уроки: пятый этаж, герань, Профессор, шляпная коробка, малиновое варенье, шторы жёлтые.

Через две недели Ива спросила то, чего я боялась больше всего.

— А почему мама не пишет?

Мы лежали в кровати валетом, и её холодные ноги упирались мне в живот.

— Когда папа уехал, ты сказала, что он пришлёт письмо, — сказала Ива в темноту. — Он не прислал. Мама тоже не пришлёт?

Я долго молчала. Ива уже засопела, а я всё лежала и смотрела в потолок. Я поняла, что тётя Лиля больше не справляется. Нужно было письмо.

Мамина тетрадь с рецептами лежала в кладовке, на полке с мукой. Толстая, в клеёнчатой обложке, страницы в жирных пятнах. Мама записывала туда всё: как солить огурцы, сколько сахара на ведро вишни, как варить мыло из обмылков. Я забрала её к печке и при свете из дверцы стала разглядывать, как мама пишет.

Почерк у мамы был круглый, а буквы наклонялись немного назад. Будто каждая упиралась и не хотела идти вперёд. У «д» хвостик уходил вниз петлёй. «Р» тоже была с хвостиком. Заглавную «М» мама писала как две горки, причём вторая была выше первой.

Несколько ночей подряд я училась писать, как она. На полях старых газет, огрызком карандаша, у открытой печной дверцы. Горки, петли, наклон назад. Газеты потом сжигала. Матей решил, что я делаю уроки, и даже похвалил меня. Это был единственный раз за всю зиму.

На последней странице тетради, на внутренней стороне обложки, был записан карандашом номер телефона. Шесть цифр, а под ними одна буква и точка: «В.». Цифры были обведены несколько раз, так сильно, что карандаш продавил клеёнку.

Я решила, что «В» — это Вера, мамино имя. Иногда она подписывала так банки с вареньем, чтобы не перепутать с соседскими. Правда, телефона у нас не было, и было непонятно, зачем маме собственный номер. Но в восемь лет умеешь объяснить себе всё что угодно. Я перевернула страницу и забыла про него на тридцать с лишним лет.

Письмо я написала на листе, вырванном из той же тетради, чтобы бумага была мамина.

«Ивочка, доченька моя. Тётя Лиля пока болеет, я за ней ухаживаю. Слушайся Ану и Матея. Ешь суп, даже если невкусно. Не сиди долго на окне, там дует. Я скоро приеду. Целую сто раз. Мама».

Про окно я придумала в последнюю минуту, и это была самая удачная строчка. Только мама могла знать про окно.

Утром я вышла раньше всех, будто бы за водой, и положила письмо в почтовый ящик на калитке. Ящик был ржавый, без замка, и за всю мою жизнь туда приходили только квитанции. А потом за завтраком сказала Иве, как будто между делом:

— Сходи посмотри почту. Мне кажется, почтальон приходил.

Ива вернулась с письмом, прижатым к груди обеими руками. Она даже не надела варежки. Читать она ещё не умела, знала только буквы, но узнала «М» с двумя горками.

— Это мама, — сказала она. — Это её буква.

Матей уронил ложку.

Письмо читала я, вслух. Своё собственное письмо, маминым голосом. Я старалась читать медленно и мягко, как мама читала нам сказки, когда ещё читала. Ива слушала, не дыша. На словах «целую сто раз» она закрыла глаза. На «не сиди долго на окне» посмотрела на окно, потом на меня.

— Откуда она знает?

— Мамы всё знают, — сказала я.

Мы прочитали письмо одиннадцать раз. Я считала. Потом Ива сложила его вчетверо и положила под подушку. В тот вечер она впервые не поставила на стол мамину тарелку. Она сидела на подоконнике недолго, как велела мама, и слезла сама, без «завтра».

Ночью, когда Ива уснула, Матей сел на край нашей кровати.

— Это ты написала, — сказал он. Не спросил, а сказал.

— Да.

Он долго молчал. В темноте я видела только, как блестят у него глаза.

— Похоже, — сказал он наконец. — Очень похоже.

И ушёл на свой сундук. Я думала, он будет ругаться: что это против правил, что Ива теперь будет ждать следующего письма. Он не стал. Может, ему тоже хотелось, чтобы в доме было хоть одно письмо от мамы. Пусть даже такое.

Ива и правда стала ждать следующего. Теперь она каждое утро бегала к ржавому ящику на калитке, а не сидела вечерами у окна. Ждать письма легче, чем ждать человека. Письмо можно написать самой.

За ту зиму я написала их семь.

Последнее Ива хранит до сих пор. Оно лежит в её паспорте, в обложке, и за тридцать лет истёрлось на сгибах почти насквозь. Я видела его, когда мы встречались в последний раз. Она достала паспорт на вокзале, и письмо выглянуло краешком, круглые буквы с наклоном назад.

Я так и не сказала ей, кто его написал.

Глава седьмая — Учительница спрашивает

В нашей школе было две комнаты и одна учительница.

В первой комнате учились младшие, во второй старшие, а учительница Хелена ходила между ними, как пастух между двумя загонами. Пока она объясняла малышам буквы, старшие решали задачи. Пока старшие писали диктант, малыши рисовали палочки. Так что все трое нас были у неё на глазах каждый день. Ива в первом классе, я во втором, Матей в четвёртом.

До февраля она ничего не замечала. А в феврале мы сами дали ей повод.

Сначала уснул Матей. Прямо на уроке, на задачке про два поезда, которые выходят навстречу друг другу. Он колол дрова до темноты, а вставал раньше всех, чтобы растопить печку, пока мы спим. Пятое правило: дым из трубы каждое утро. Он уснул, положив голову на руки, и учительница Хелена не стала его будить. Она постояла над ним, посмотрела на его ладони, всё ещё в коросте от топора, и отошла.

Потом Ива пришла в школу в двух разных носках. Один был её, а другой мой, и мой был ей велик, он съехал в валенке и натёр пятку до крови. Учительница Хелена сама промыла ей пятку, заклеила пластырем и спросила:

— А мама не видела, что ты так пошла?

— Мама у тёти Лили, — сказала Ива. — Тётя Лиля сломала ногу.

Я сидела в соседней комнате и слышала это через открытую дверь. У меня похолодели руки. Ива не знала правил Матея. То есть знала, но для неё тётя Лиля не была ложью. Тётя Лиля была правдой, которую можно рассказывать всем.

Учительница Хелена ничего не ответила. Только посмотрела через дверь на меня.

А в пятницу она раздала всем записки для родителей.

Записки были одинаковые, написанные под копирку. Родительское собрание в среду в пять вечера. Сбор денег на дрова для школы, по столько-то с семьи. Внизу строчка: «Ознакомлен(а)», и место для подписи. Подписанную записку надо было вернуть в понедельник.

Мне учительница дала записку последней. И пока я её брала, она не отпускала её из пальцев. Совсем чуть-чуть, на одну секунду дольше, чем надо.

— Обязательно передай маме, — сказала она. — Я очень хочу её увидеть.

По дороге домой Матей сказал, что на собрание никто не пойдёт, а записку мы выбросим в печку. Скажем, что потеряли.

— Она не поверит, — сказала я.

— Почему?

Я не знала, как объяснить. Что она держала записку на секунду дольше. Что она посмотрела на меня через дверь. Что она промыла Иве пятку, а это делают мамы, а не учительницы. Мне было восемь лет, и я ещё не умела говорить такие вещи словами. Но я их чувствовала, как чувствуют погоду.

— Не поверит, и всё, — сказала я. — Я подпишу.

В мамином почерке я уже была уверена. Горки, петли, наклон назад. Но вечером, когда я села за стол с запиской, я поняла, что не знаю главного. Я не знаю, как мама подписывается.

В тетради с рецептами подписей не было. Зачем подписывать рецепт огурцов? На банках она писала просто «В.». А на записке учительнице нужна была настоящая подпись. Взрослая. С фамилией.

Мы перерыли весь дом. Матей нашёл в комоде коробку из-под обуви, в которой мама хранила бумаги. Там были квитанции за свет, папина трудовая книжка, наши свидетельства о рождении и справка о прививках. И на каждой квитанции за свет внизу стояла мамина подпись.

Она была совсем не похожа на её почерк. Почерк у мамы был круглый и медленный, а подпись быстрая, острая, как будто она расписывалась на бегу. Большая буква, потом

росчерк, потом длинный хвост вниз, который пересекал строчку под ним. Мама, которая писала рецепты, и мама, которая расписывалась за свет, были как два разных человека.

Теперь я думаю, что так оно и было.

Я тренировала подпись до полуночи. Подпись труднее почерка. Почерк можно рисовать медленно, по буквам. А подпись надо делать одним движением, быстро и не думая, иначе рука дрожит и линия получается кривой, как у старухи. Я исписала все поля двух газет. Матей сидел рядом и держал лампу. Ива спала.

К полуночи у меня стало получаться. Не так, как у мамы. Но похоже.

На записке я поставила галочку у слова «Ознакомлена». А ниже, своим, то есть маминым круглым почерком, дописала:

«На собрание прийти не смогу, работаю в районе, в столовой, допоздна. Деньги передам с Аной».

И подпись. Одним движением. С хвостом вниз.

Деньги мы взяли из жестянки из-под чая, где мама держала деньги на хозяйство. Там оставалось немного. Матей пересчитал два раза, отсчитал нужное и долго держал купюры в руке, прежде чем отдать мне. Он думал о том же, о чём и я: сколько ещё зим можно прожить на одну жестянку. Но ни один из нас не сказал этого вслух. Седьмое правило касалось не только слёз.

В понедельник я отдала записку и деньги учительнице Хелене. Она взяла записку и долго её читала, хотя там было всего две строчки. Потом открыла классный журнал на первой странице. Там, в сентябре, все родители расписывались, что получили учебники. Мама тоже расписывалась. Я видела, как учительница положила мою записку рядом с журналом.

Две подписи лежали рядом. Мамина настоящая, сентябрьская. И мамина моя, февральская.

Я стояла у её стола и не могла дышать. Я ждала, что сейчас она поднимет на меня глаза и всё скажет. Что придут люди из района. Что нас разберут по трём детдомам, как обещал Матей. Что всё кончится сегодня, в понедельник, у учительского стола, и виновата буду я, потому что я не умею расписываться одним движением.

Учительница Хелена смотрела на подписи очень долго. Потом закрыла журнал.

— Передай маме спасибо, — сказала она.

И всё.

Я пошла на место. Ноги у меня были ватные. Весь урок я смотрела в тетрадь и не видела ни одной буквы.

Только на большой перемене я заметила одну вещь. Учительница Хелена не положила мою записку в папку, к остальным. Она сложила её пополам и убрала к себе в сумку, во внутренний карман, с кошельком.

Тогда я не поняла, что это значит. Я решила, что она мне поверила. Что подпись получилась. Вечером я даже гордо рассказала Матею, как всё прошло, и он хлопнул меня по плечу, как взрослый.

Но в ту ночь мне не спалось. Я всё думала про эту сумку. Почему не в папку, а в сумку. Почему с кошельком, где хранят важное.

Сейчас я знаю. Она всё поняла в ту же минуту, у стола. Взрослые видят то, что ожидают увидеть. Но если увидели другое, у них есть выбор. Можно сказать. А можно сложить пополам и убрать в сумку.

Учительница Хелена выбрала сумку. До весны оставалось ещё два месяца, и я до сих пор не знаю, спасла она нас этим или нет.

Глава восьмая — Деньги в жестянке

Жестянка была из-под индийского чая. На крышке шёл слон с красной попоной, а на слоне сидел человек в тюрбане и смотрел вдаль. Чай из неё давно выпили. Мама держала там деньги на хозяйство и говорила, что слон их охраняет.

Слон охранял плохо. Деньги уходили из жестянки, как вода из дырявого ведра.

Каждое воскресенье Матей высыпал их на стол и пересчитывал. Сначала бумажки, разглаживая каждую ладонью. Потом монеты, столбиками по десять. Я сидела напротив и записывала на обороте календаря, рядом с правилами, сколько осталось. Цифры получались всё меньше, а столбики всё ниже. В конце февраля монеты уже не складывались в столбик. Они просто лежали на клеёнке горсткой, как семечки.

В те годы цены в магазине менялись быстрее, чем продавщица успевала переписывать ценники. Она клеила новую бумажку поверх старой, и к весне на банке тушёнки было пять бумажек, одна на другой, как слои на пироге. Хлеб, который в декабре стоил одну монету, в феврале стоил три. Взрослые в очереди ругались на правительство. Мы с Матеем не знали, что такое правительство. Мы знали только, что слон охраняет всё меньше.

Еда кончалась тоже.

Картошка в погребе начала прорастать. Белые ростки тянулись из темноты к щели в крышке, длинные и тонкие, как пальцы. Половина клубней сморщилась и стала мягкой. Я вырезала гниль ножом, и от каждой картофелины оставалось всё меньше. Банки с огурцами мы съели к Новому году. Мочёные яблоки к середине января, вместе с рассолом. Сахар кончился. Масло кончилось. Оставались мука, пшено и соль.

А картошку для мамы на заслонку я класть перестала. Не потому, что перестала ждать. Просто лишней картошки больше не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.